

О ХОЗЯИНЕ ДОМА:

Анатолий Владимирович Жигулин — поэт. Родился в Воронеже 1 января 1930 года. В конце 40-х был репрессирован как «враг народа». Реабилитирован в 1956-м. Автор более двадцати книг стихов и автобиографической повести «Черные камни», вызвавшей немало споров и принесшей Жигулину известность за рубежом. Протопоповский переулок, где живет и работает русский поэт, до недавнего времени назывался Безбожным. Целые поколения выросли с этим названием, смирились с ним. Старое название, возвращенное переулку, — Протопоповский им пока мало что говорит...

— Анатолий Владимирович, а вам лично не доставлял некоторого дискомфорта, что ли, тот факт, что вы писали свои проникновенные стихи о душе, о Боге в Безбожном переулке?

— Такой же вопрос мне задал когда-то литераторовед Владимир Орлов, автор известной книги о Блоке «Гамаюн». И я ему тогда ответил, что переулок, в котором я живу, некоторые из моих читателей в адресе на конвертах именуют Божественным, Божеским. И это не случайность, а, скорее всего, внутреннее побуждение, наитие. Видно, они по стихам чувствовали, что я никогда не служил безбожной власти. Как-то взял книгу своих избранных стихотворений «Легкие дни», перелистал ее и подумал: ну, слава Богу, ничего выбрасывать не надо — нет в книге стихов, за которые мне было бы стыдно, в которых бы я покривил душой. А ведь немногие из поэтов моего поколения могут сегодня сказать то же самое про себя. В свое время, чтобы пробиться в первые ряды, они писали на темы, приспособленные для получения премий, на высшие места в литературной иерархии. Да они и сейчас остались при власти, при премиях, при должностях...

— Но без Бога в душе? Помню, Анатолий Владимирович, как на вечере, посвященном юбилю «Литературной газеты», я был приятно удивлен взволнованной реакцией слушателей на ваши стихи. Они действовали сильнее, чем громогласные строчки некоторых ваших сотоварищ по цеху. Наверное, в наши смутные дни человеку понятней и ближе не эстрадный крик, а молитвенный шепот, проникновенное сострадательное слово?

— Здесь я не вполне согласен с вами. Во-первых, о вашем удивлении реакцией слушателей на мои стихи. Вы, наверное, редко бывали на моих выступлениях. Успех сопутствовал мне всегда в любых аудиториях — и в Политехническом, и в зале «Октябрь», и в ЦДЛ и т.д. Во-вторых, и в «громогласных» строках может быть поэтическое содержание, а «молитвенный шепот» может быть лицемерием. Главное условие успеха — присутствие в стихах Поззии. А память и боль — это составляющие Поззии.

Мой собеседник на мгновение задумывается, затем слабым от долгой болезни голосом вдруг начинает читать:

Мой бедный мозг, мой хрупкий разум,
Как много ты всего хранишь!
И все большее с каждым разом
Тревожно вслушиваться в тиши.

В глухую тишину безмолвной думы,
Что не отступит никогда,
Где, странны, пестры
и угрюмы,
Живут ушедшие годы.

Там все по-прежнему, как было.
И майский полдень, и пурга.
И друга черная могила,
И жесткое лицо врага...

Там жизнь моя войной разбита
На дальнем-дальнем рубеже...
И даже то, что позабыто,
Живет невидимо в душе.

Живет, как вербы у дороги,
Как синь покинутых полей,
Как ветер боли и тревоги
Над бедной родиной моей.

В комнате воцаряется тишина. Даже кошка Катя, которая все это время вольготно разгуливалася по рабочему столу писателя, кажется, замирает.

— Вот попал в антологию «Строфы века», — нарушает молчание Анатолий Владимирович. И в этих словах чувствуется легкая ирония.

— Правда, составитель антологии, хороший человек Евгений Евтушенко, ничего лучше не придумал, как вставить в нее одно лишь



Фото Ильи Мордвинкина.

ЖИЗНЬ! НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ...

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ АНАТОЛИЕМ ЖИГУЛИНЫМ

мое давнее стихотворение «Кострожги». Других стихов он, наверное, и не читал. Хотя грех жаловаться. Был и такой эпизод в моей жизни, связанный с Евтушенко и этим стихотворением. Я предложил «Кострожги» к публикации в журнал «Юность» в 1963 году. И единственным человеком из очень авторитетной редакции, поставившим знак плюс под этим «крамольным» стихотворением, был Женя. Стихи мне вернули, но его плюс я помню.

— Я знаю, «Кострожги» посвящены Александру Исаевичу Солженицыну.

— Да. Я был потрясен «Одним днем Ивана Денисовича». Солженицын — великий писатель и великая личность. Я горжусь тем, что в начале шестидесятых годов он прислал мне два письма (я написал Солженицыну в Рязань) о поэзии, и, в частности, о моих стихах. Очень хорошие, очень интересные письма. Они у меня, правда, пропали. Видимо, их выкрадли люди из КГБ. Но у моего друга Владимира Филина, ныне покойного, с которым я катал урановую вагонетку, остались копии этих писем в архиве. Что сказать? Я прочел, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» — это важная и нужная книга. Хотя один человек не может все собрать о ГУЛАГе. Приведу такой пример: среди упомянутых Солженицыным в своей книге кораблей, возивших заключенных на Колыму, я лично недосчитал двух. Это корабль «Минск», на котором меня везли в 1951 году, и пароход «Ногин», который возил заключенных еще до войны. Откуда я это знаю? Мне доводилось видеть название парохода на любительских картинах в бараках Бутыгчага. Картины писали те, кто «Ногин» привез в Магадан. Вот вам небольшое дополнение к списку кораблей, возивших заключенных на Колыму.

— У меня в связи с этими уточнениями вопрос: Александр Солженицын посвятил свою книгу «Архипелаг ГУЛАГ» всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. «И да простят они мне», — пишет он в посвящении, — что

я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался». Не в этих ли словах таится причина появления на свет Божий и автобиографической прозы Анатолия Жигулина «Черные камни»? Мне кажется, что-то жило в вашей памяти такое, что не могло осуществиться в стихах на лагерную тему, но страшно рвалось наружу, дабы заполнить брешь недосказанности о пережитом...

— Да, вы верно определили закономерность появления моей прозы. Солженицын в одном из писем спрашивал меня: «Вы не пробовали писать прозу?» Я помнил об этом во время, делал подготовительные заметки, но лишь в 1984 году написал «Черные камни». А в 1989-м я предпринял попытку через эмигранта Бориса Вайля, который живет в Дании, передать Александру Исаевичу книжное издание «Черных камней». Книгу Вайль послал, но ответа от Солженицына я не получил. Возможно, книга не дошла до адресата, затерялась... Сейчас в одном издательстве (чтобы не слагать, не буду говорить, в каком) готовится к печати моя новая книга, более полная. Называется «Черные камни. Дополненное издание. Урановая удочка. Стихотворения» — вот такое длинное название.

— Хороший повод еще раз послать книгу Александру Исаевичу. Тем более он теперь поближе.

— Да, пожалуй.

— Несколько я помню, «Черные камни» выдержали массу переизданий.

— Только на русском языке я насчитал шесть. Переведена книга на европейские языки.

— Так вы состоятельный человек?

— Был им краткое время — до реформы... А теперь живу, как все пенсионеры в нашем Отечестве. Поэтому возникает проблема, в частности, как прокормить вот этих пушистых членов нашей семьи, — Анатолий Владимирович дружелюбно кивает в сторону трех симпатич-

ных кошек. — Пора их, кстати, кормить, Ира!

К нам выходит хозяйка дома, Ирина Викторовна Жигулина, давний друг и помощник поэта. На ее лице я улавливаю беспокойство, связанное с недомоганием мужа: беседа наша подзатянулась... Еще раз оглядываю кабинет писателя. Книги, фотографии, иконы.

— Это фотографии родителей Толи, — поясняет мне Ирина Викторовна. — Его мама Евгения Митрофановна Раевская из прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. Дед по матери, Митрофан Ефимович Раевский, потомственный дворянин, был очень образованным человеком, служил начальником городского телеграфа в Воронеже... Это наш сын Владимир, вот Толя молодой, вышедший только что из заключения. Когда мы с ним познакомились в 1961 году в Воронеже, он в смертниках ходил: открытая форма туберкулеза, харкал кровью. Но был веселый, поражал своеобразным юмором, талантлом рассказчика, пел лагерные песни. С тех пор мы вместе... А вот он сфотографировался для книги «Рельсы» — из больницы сбежал, с температурой, в пиджаке Коли Панченко. Друзья дома — Фазиль Искандер, Наум Коржавин. Это Александр Трифонович Твардовский. Стихи Толи он очень любил, напечатал их в первом номере «Нового мира» за 1962 год и вообще часто печатал, хотя не всегда мог сладить с цензурой.

Я слушаю торопливый рассказ Ирины Викторовны, а сам думаю о том, сколько пришлось выстрадать, пережить этой замечательной женщине, побегать по редакторским кабинетам, отстаивая каждое «неблагонадежное» стихотворение мужа-поэта, имевшего честь писать в самые застойные времена, мертвенные и бесчеловечные, о живой человеческой боли, о саднящей памяти, о душе, о погибших в лагерях друзьях!

Осажденная нетерпеливыми кошками, Ирина Викторовна вынуждена ретироваться на кухню. А хозяин дома, глядя ей вслед, замечает: «Без нее я бы давно погиб!»

— Хотите я прочту вам свое стихотворение «У больничного окна», посвященное Ирине? И, не дожидаясь моего ответа, Анатолий Владимирович читает:

12 АПРЕЛЯ 1996 Г. Труд-7

Прич. к газ. Труд

Видна труба заброшенной
котельной,
И вьется лист — в подобие
стрижу.
И из окна палаты неотделенной
Я каждый вечер всё на них
гляджу.

Ах, солнце, солнце! Свет моей
надежды.
Ах, Ира, Ира! Свет моей души.
Я каждый вечер опускаю
вежды
И говорю: живи, мой друг,
даши.

Мои часы — из солнца и трубы.
Мой календарь — из ветра
и березы.
Моя любовь, конечно, из
судьбы.
Но там — все слезы, слезы,
слезы, слезы...

— Мои лучшие стихи о любви
посвящены Ирине. И я горжусь
этим.

— Еще не одно, наверное,
стихотворение вы посвятите
ей...

— К сожалению, новые стихи
пишутся с трудом. Работаю сейчас
над прозой. Читали мою «Урановую
удочку» в «Литературке»?

— Да.
— Это одна из последних моих
публикаций. Стихи, увы, не кормят,
«только плют и то не всегда».

— Некоторых литераторов
стихи и поэты, и кормят одновре-
менно. Сейчас напридумывали
всех литературных премий... А

вам за свою долгую и трудную
литературную жизнь не доводи-
лось быть лауреатом?

— Нет, не доводилось. Чинов-
ники от литературы пугались моих
лагерных стихов. Да и лирика моя
была слишком горестная для пом-
пезного времени.

— Сейчас на пять лет утвер-
ждена российская Пушкинская
премия...

— Это хорошо. Давно пора. И
хоть завещал нам великий Пушкин:
«Хвалу и клевету приемли равноду-
шно», — но все же хвала, освя-
щенная именем Пушкина, не может
не порадовать сердце русского по-
эта.

— А чем вам особенно дорог
Александр Сергеевич?

— Понимаете, когда мне труд-
но, очень трудно жить, я беру то-
мик Пушкина — прозу или стихи,
все равно — и читаю. И мне стано-
вится легче, я успокаиваюсь.

— Так, по-домашнему, отно-
сился к Пушкину поэт-эмigrant
Георгий Иванов. Помните его
стихи:

Александр Сергеевич, я о вас
скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б
выпить чаю.
Вы бы говорили, я бы, развесив
ушки,

Слушал бы да слушал...

— Многие научились говорить
о Пушкине и разучились слушать,
читать его стихи. А как бы хотелось,
чтобы все было наоборот.

... «Да, как бы хотелось, чтобы
все было наоборот!» — невольно
повторял я, уходя в тревожные
московские сумерки. Хотелось бы,
чтобы государство оберегало поз-
зию и поэта как национальное до-
стояние; чтобы достойные рукопи-
си не лежали годами в издательст-
вах; чтобы живой драгоценный го-
лос поэта слышали его современ-
ники; чтобы не иссякали силы; что-
бы не покидали друзья... Но Поэту
не разминутся со своей судьбой,
так же как и судьбам людским
разминутся с истинной поэзией,
с истинным поэтом. И снова и сно-
ва приходили на память, утешали
душевную боль удивительные стро-
ки Анатолия Жигулина: «Жизнь! Неч-
аянная радость. Счастье, выпав-
шее мне...»

Вел беседу
Владимир КОРОБОВ.